

**18+КАРЕЛЬСКАЯ
ЧЕРНИКА: ОТРАЖЕНИЕ
ДУШИ ТУМАННОГО
ОЗЕРА**

Современная проза и поэзия

НАТАЛЬЯ ЧЕРВЯКОВСКАЯ

Наталья Червяковская

**Карельская черника: отражение
души туманного озера.
Современная проза и поэзия**

«Издательские решения»

Червяковская Н.

Карельская черника: отражение души туманного озера.

Современная проза и поэзия / Н. Червяковская — «Издательские решения»,

Книга «Карельская черника: отражение души туманного озера». Повествует она о древней и пресветлой земле Карельской, о роде московского лекаря Бавы Савельевича и супруги его, писательницы Миры Алексеевны, о дочери их Ачими, в коей сокрыт шаманский дар, и о истории рождения сына их Богумила. А ещё — о дивной природе и вековых обычаях народа, что испокон живёт на сей благословенной земле. И о семье старой шаманки Локко, чьё имя — то ли крик чайки над хлябью, то ли рык лесной рыси в глухой чаще.

© Червяковская Н.

© Издательские решения

Содержание

Любовь семьи — начало всех начал	6
Отпуск в тумане Карелии	16
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Карельская черника: отражение души туманного озера Современная проза и поэзия

Наталья Червяковская

© Наталья Червяковская, 2026

ISBN 978-5-0069-9797-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Любовь семьи — начало всех начал

Любовь семейная — всему живущему начало и корень. Яко от тепла родительского очага возгорается искра жизни во всяком человеке, тако и от родовой любви прорастает и крепнет древо бытия. От неё — и свет негасимый в очах, и твёрдость негибкая в руках, и кроткая доброта в сердце. Без неё же человек — как былинка в чистом поле без корня, ветрами гонимая, сырём скитальцем во степи мирской. Посему храните любовь семейную, яко зеницу ока, ибо с нею — и лад в душе, и мир в доме, и несокрушимая крепость земли Русской.

Разлился мёд черничного вина,
Где вскинул Молот яростный Перун,
Из тёмных высей, из седого сна
Звучит напев заветных гуслей-струн.
Разверз Сварог глухие закрома,
И фиолетом красит Мара мрак,
Сгустилась в тучах ведовская тьма,
И шепчет Велес, подавая знак.

Она бежит, отринув дольний мир,
Где Камень-Алатырь векам молчит,
Где звёзд далёких призрачный кумир
В зенит вонзает каменный гранит.
Драконы-змеи в чреве у горы,
Закованы бессмертием в металл,
Хранят Богами данные дары,
Чтоб смертный дух в неволе не завял.

Несёт она белеющий букет,
Где в розах Лады дремлет острый шип,
В них горечь слов и непрожитых лет,
И древних рощ пророческий изгиб.
Луна-багряница, как Око Спас,
Ведёт черёд над спящею землёй,
Призвал её Макоши тихий глас
Вернуться к предкам, обрести покой.

Душа её — как Жива- матушка, река,
Черничная, бездонная купель,
Где тонет кривда, горе и беда,
И затихает жизненная хмель.
В той магии, что Родом сплетена,
Где Прави стяг превыше всех корон,
Она испьёт бессмертие до дна,

Входя в великий, бесконечный сон.

Мила ли тебе пелена туманная, как мила она мне, Мире? Не те зори утренние, что тают от первого луча, а тебе — густые, молочные, что ложатся на землю внезапно, словно сам Род укрыл мир тяжким влажным покрывалом. Люблю их за то, что стирают они межи меж мирами. В тумане пропадают заборы, дома становятся призрачными тенями, а деревья — древними стражами, что вышли из былин. Суэта человеческая исчезает, растворяется в белой мгле, и остаётся лишь природа — начинает она говорить на языке истинном, прародительском.

В такой день особенно остро чувствуешь: земля наша — не просто прах под стопами, а живое нутро, Мать-Сыра-Земля. Она дышит грудью под ногами, и в жилах её течёт память, густая, как кровь предков. Едва стелется туман по низинам — несёт он в себе дух прелой листвы, сырой коры да болотных трав. И в тех запахах, словно в древних свитках, слышится голос самой седой старины. Не звон железный, не грохот колесниц, а шёпот лесов кудрявых, шорох полей бескрайних да те молвы, что наши пращуры шептали, головы склоняя перед Перуном-громовержцем и Велесом-скотым богом.

Пасмурь — время для думы глубокой. Не зовёт тебя никто на улицу, не требует улыбок натужных да бодрости показной. Сядь у окна, гляди, как слеза дождевая по стеклу ползёт, и думай о вековечном. О том, что было до нас. О том, как в такие же седые дни собирался люд в избах тёплых, как пахло полыньёю да воском ярим, как старухи шептали заговоры — оберег на дом от нежити и всякой нечисти. Славянская обиходь обрядовая — не пустые слова то, не скорлупа. То целая вселенная, где каждому жесту, каждому слову — свой сокровенный смысл, своя сила родовая.

Вот, речём, туман. Для пращуров наших он не туманом был — вратами межъявными. Меж миром живых и Навью неоглядной. В час, когда белая мгла стелет по земле кудели свои, говорили старики: то души предков на прогулку выходят. Бродят они вдоль опушек, садятся на пни замшелые, на коряги вековые — и глядят на потомков, молчаливо судят. А посему не след кричать в тумане громко, не то потревожишь покой усопших, разбудишь их память. И одному в лес ходить не моги: заплутаешь не в чаще — во времени. Ступишь на поляну, глядь — а там не твой век, а век пращура. И пойдёшь кружить, покуда петух не пропоёт, покуда заря не развеет морок.

Люблю я эту мистику, ой как люблю. Не страхом она веет, а врачует душу, словно матушка тихую молитву шепчет на сон грядущий. Есть в ней тот древний лад, тот извечный порядок, что мы посеяли в погоне за железными правдами. Привыкли мы всё мерять наукой: метеорологией, физикой, цифрами сухими да бессердечными. А пращуры наши мерили сердцем — оттого и мир их полнился чудесами, как небеса — звёздами частыми. У каждого ручья свой водяной хозяин, у каждого камня — дух-хранитель, а лесной овраг дышал тайной вековой. Берёза плакала соком не от весеннего сокодвижения, а оттого, что обидели её словом недобрим, лихим. Ветер выл по ночам не от перепадов давления, а потому что Стрибог-батюшка гневался али чад своих кликал. И в той вере была истина — тёплая, живая, что согревала пуше печи русской и была крепче самого Калинова моста.

Помню, как бабушка сказывала: в этакый день, когда туман белёсой кисеёй ложится на землю, не моги оставлять на столе ни ножей, ни вилок — слетится нечистая сила, остранился о железо да и примется злобиться, беду накликать. А ещё наказала она: непременно запали лучину али хоть свечу сальную — огонь-батюшка злой морок прогоняет, стены родные от напа-

сти бережёт. Счёт таким приметам бабуля вела на десятки, и каждая вращалась корнями в вековую мудрость предков. Ныне же разумею: то не пустое суеверие было, а тайный узел, что род с родом связует. Когда зажигаешь свечу в студёной пелене тумана — не тьму разгоняешь, а повторяешь обряд, что творила прабабка твоя, а до ней и пращурка её. И та нить из рук не выпадает, не рвётся.

Хмурое небо льнёт к окнам, словно просится в душу — и тянет к старым книгам, к дремотной мудрости пращуров. Я снимаю с полки тяжёлые сборники: былины, сказки, обрядовые песни, где каждый слог — как зерно, брошенное в вековую землю. Читаю о Костроме, что в венке из трав уходит в воды, о Яриле, что будит землю горячим дыханием, о русалках — туманных девах, что выходят на берега при луне и чешут длинные волосы, напевая песни, понятные лишь ветру. И чудится мне: в горнице становится сыро и прохладно, тянет речной тиной, мокрой травой и древней сыростью. Слышу я не только голос книжный — слышу шёпот веков, шорох времени, что струится меж пальцев, как вода. Нет в этих письменах суеты, нет мирской спешки. Текут они плавно, словно туманная река в полусне, словно сам Сварожий круг поворачивается неспешно. И в них сокрыты ответы на те вопросы, что мы робко таим в груди — те, что боимся вымолвить вслух, но о которых шепчут нам листья, травы и тихий дождь за окном.

Что есть жизнь? Вопрос сей древнее мира, и не нам, смертным, искать на него ответа, но чувствовать — чувствовать сердцем. Почему мы страдаем? А как без того? Земля родит хлеб лишь после того, как пройдёт по ней плуг. Без боли нет и воскресения. Что будет после смерти? Славянская мудрость не ведает страха пред концом, ибо конца нет. Есть круговорот, великое коло, что вертится от века и до века. Зима — это не смерть, а лишь сон земли, в котором она набирает силу, чтобы явить себя летом в буйстве трав и злаков. Смерть — не падение в бездну, а переход, тихая ладья, что перевозит душу через реку забвения, в мир так же живой, как и этот, только зримый иными очами. А туман, что стелется по утрам над рекой и лугом? То не простая мгла, то занавес меж мирами. На миг приподнимется он, и душа наша, если чиста, узрит тайну, что за гранью. Не надобно бояться. Страх — это узы, что сковывают Дух. Надобно слушать. Слушать, как шуршит листва под ногою — то предки шепчут нам. Как капель звенит с крыши — то слёзы радости самой Матери -Сырой- Земли. Как далеко, у самого края неба, где ночь с рассветом сходится, поёт петух — могучий глас, что прогоняет тьму и навь. Это язык Рода, язык отцов и дедов. Он не канул в Лету, не забыт в гордыне нашей. Он ждёт. Он терпеливо ждёт, когда мы, утомлённые суетой, наконец замолкнем, утихомирим мысли и — вслушаемся. И тогда в капле росы, в дуновении ветра, в треске поленьев в печи мы вдруг узнаем ответ. Всё есть. Всё было. И всё пребудет. Тако бысть, тако еси, тако буди!

Расступится туманная пелена, и взойдёт солнце ясное, и мир вновь явится будничным, чётким да приземлённым. Но ведаю я: воротится он, воротится, дабы напомнить: есть глубины сокровенные, кои превыше суетных забот наших. Есть тишина, в коей сама вечность молвит. И в той тишине — древняя, мудрая, тайная душа наша. Любите ли вы туманы? Возлюбите же их. В них — спасение от мирского гомона. В них — ключ к тому, что навеки затерялось, но обрестись может. Лишь выйди на крыльцо, вдохни влажный дух и дозвошь миру глаголати с тобою на языке, что помнишь ты от самой колыбели.

Кровь не остыла в ковше золочёном,
Шепчет исток по камням истомлённым.
В белом тумане, как в ризе сакральной,
Дремлет начало отчизны начальной.

То не роса на ресницах рассвета —
Горсть серебра из забытого света,
То не трава под росой согнулась —
Память веков из земли потянулась.

Там, за завесой молочного плена,
Времени нет — лишь прибой и колена.
Витязь застыл над рекою зеркальной,
Слушая гуд тетивы погребальной.
Ветви сплетаются пальцами дедов,
В каждом созвучье — величье побед их,
В каждом движении невидимой тени —
Милость Богов и святые ступени.

Пасмурь ложится на плечи, как бремя,
В ней замедляется быстрое время.
Сквозь пелену, что соткали Стрибог и Немиза,
Видятся нам изначальные дороги.
Это не хмарь, а небесное лоно,
Где пребывает душа неуклонно,
Где между миром живых и ушедших
Нет ни чужих, ни во мгле сумасшедших.

Слышишь, как Лада поёт над покосом?
Ветер летит по некрашенным косам.
В запахе тления — зерна рожденья,
В горечи праха — надежд пробужденье.
Встанут за тыном высокие ели,
Словно волхвы у лесной колыбели.
Древнее Коло, святое и вечное,
Путь завершает в кольцо бесконечное.

Пусть же туман — это вещая книга,
Сбросивших летопись тяжкого ига.
В каждой ложине и в каждой протоке —
Наших прапращуров звёздные токи.
Мир не иссякнет, пока над полями
Тлеет свеча между нами и ими.
Встанет Ярило, развеяв виденья —
В новую плоть, в золотое цветенье.

Стояло ноябрьское туманное утро — тот зыбкий час меж сном и явью, когда сам Перун ещё не разогнал седых облаков, а Велес уже тайно ведёт свой незримый скот по росистым травам, стелющимся под тяжестью предзимья. В их дружной семье всё текло своим чередом — размеренно, уютно и чуть сонно, словно сам осенний воздух, напивавшись хрустальной

тишиной, замер в сладком предчувствии неминуемого чуда, дарованного Ладой и Сварогом. За окном, затянутым влажной дымкой, едва угадывались очертания клёнов, ронявших последние листья — словно сама Мать-Сыра-Земля роняла золотые слёзы прощания с уходящим летом, а Дажьбог уже запрягал златогривых коней в карету для долгого зимнего пути.

Бава вошёл в квартиру бесшумно — так ступают только те, кто привык к тишине моргов и больничных коридоров, где каждый звук гаснет, не родившись. Скинул пальто — тёмно-серое, итальянский крой, купленное в прошлом месяце на распродаже в «ЦУМе», — и повесил на плечики с той пугающей аккуратностью, что выдавала перфекциониста, почти одержимого. Часы на запястье показывали семь утра. Ночное дежурство выдалось тяжёлым: два вскрытия, одно из них — молодой парень, двадцати трёх лет, ножевое. Бава уже не считал, сколько таких тел прошло через его руки за двенадцать лет практики, но каждый раз, закрывая за собой дверь прозекторской, он оставлял там всё — кроме запаха формалина, который, казалось, въелся в кожу, въелся в самую душу.

Он замер на пороге гостиной, привалившись плечом к дверной притолке, словно боясь переступить невидимую черту — будто воздух за ней был иным, гуще, напоён магией чужого вдохновения. В комнате царил полумрак: Мира любила работать при свете ночника — мягком, жёлтом, как старый воск, как трепет одинокой лампы в забытом храме, где время течёт иначе. Она сидела за столом, поджав под себя ноги в тёплых шерстяных носках, и, не отрываясь, впи- валась взглядом в экран ноутбука, будто старалась выжечь на нём слова силой одной лишь мысли. Чёлка — прямая, до самых бровей — чуть растрепалась, сбившись набок, а пальцы в кольцах: серебро, славянская вязь, купленная когда-то на ярмарке ремёсел, — металась по клавиатуре — быстро, нервно, будто она записывала под диктовку самого неба, ловя усколь- зающие строки прямо из тишины, из самого её сердца. Она не слышала, как он вошёл. Или слышала, но не желала отвлекаться — муза, штука капризная, Бава это знал, а муза не терпит суеты. Она ревнива, как первая любовь, и требует полной покорности.

— Мира, жена моя любимая, — начал он, и голос его, низкий, с лёгкой хрипотцой, разо- рвал тишину, как камень разбивает гладь пруда. — Я вернулся с ночного дежурства. Услышь меня, отвлечись от своих раздумий и от экрана. Взгляни на меня.

Она вздрогнула, подняла голову, и в свете монитора блеснули её лисьи глаза — узкие, с хитринкой, цвета тёплого мёда, цвета осеннего листа, что задержался на ветке дольше других. Лицо у Миры было тонкое, породистое: острый подбородок, высокие скулы, лоб без единой морщины, хотя возраст — тридцать девять — уже давал о себе знать в уголках губ, когда она долго молчала, погружённая в свои миры. Она улыбнулась медленно, словно просыпаясь от сна наяву — сна, в котором она была не здесь, а где-то там, среди древних Богов и шепчущих трав.

— Доброе утро, Бавушка, — сказала она, и голос у неё был грудной, чуть хрипловатый от долгого молчания, от долгого пребывания в тишине. — Ты появляешься — и квартира оживает. Я словно туман, а ты — солнце ясное. Без тебя я стелюсь по углам, а с тобой — поднимаюсь к небесам.

Бава усмехнулся, качнув головой. Короткая стрижка, идеально уложенная, блестела в полумраке — волосы густые, смоляные, с редкой сединой на висках, которую он не закра- шивал, считая, что мужчине седина к лицу, что она — не старость, а мудрость, выкованная ночами над чужими телами. Он был высок — под сто восемьдесят пять, — широкоплеч, но без перекаченности, спортивная подтянутость чувствовалась в каждом движении: в том, как

он расправил плечи, как повернулся боком, демонстрируя тонкую талию, перетянутую ремнём от «Giorgio Armani». Брюнет с глазами в прищур — так его описывали коллеги, добавляя: «И всегда при параде, хоть на вскрытие, хоть на бал». Белая рубашка, несмотря на ночную смену, оставалась свежей — он переодевался перед выходом каждый раз, благо в больнице был свой душ. Он был из тех, кто даже в аду явится с иголки.

— И всё думаю о значении твоего имени, — продолжила Мира, откинувшись на спинку стула и потянувшись, как кошка, что долго спала на солнце. Под свободной вязаной кофтой на голое тело угадывалась тонкая талия — она была стройна природной, неспортивной стройностью, без диет и залов, просто генетика, как она говорила: «Деревенские корни, прабабка моя всю жизнь в поле горбатилась, а я вот — за письменным столом, записываю то, что земля шепчет». — Имя Бава — мужское, славянское, означает «забавный». В иных толкованиях ещё и «медлительный»... Но ты уж точно не медлительный, забавный мой. Ты — как молния, что бьёт внезапно и оставляет после себя дрожь.

Она встала, и он увидел её целиком: короткая стрижка — волосы прямые до плеч, обрамляющие лицо, как шапка, и она действительно любила головные уборы, но сейчас была без них, отчего казалась моложе, почти девочкой, почти той, кого он встретил двенадцать лет назад. Одежда — свободные шерстяные брюки, мешковатые, и та же кофта, никаких платьев, никаких юбок — Мира отрицала всю эту «женскую мишуру», как она выражалась, хотя могла бы носить что угодно: фигура позволяла, но душа — нет. Она подошла к нему, и он заметил, как она на цыпочках привстала, чтобы поцеловать его в щёку — она была ниже на голову, и это всегда его умиляло, каждый раз, как в первый.

— Завтрак твой почти готов, — молвила она, отстраняясь, и в глубине её глаз вспыхнула та самая умная, мудрая искра, за которую он полюбил её двенадцать лет назад, когда они вместе были на презентации какого-то новомодного в ту пору автора книги стихов «Велесова ночь». — Ещё полчаса — вернёшься из душа, и я стану тебя потчевать. Буду кормить, как князя, и слушать, как ты поведаешь мне о мёртвых, чтобы я могла оживить их в словах.

Бава положил ладонь ей на затылок — пальцы длинные, сильные, с безупречным маникюром. Он всегда следил за руками: в его деле руки — инструмент, и они должны быть точны, как скальпель, чисты, как первый снег. Он притянул её к себе, закрыв глаза, вдыхая запах волос — смесь трав и старой бумаги, книжной пыли и утренней свежести. Её личный, единственный в мире запах. Запах дома.

— Тебе можно всё, Мира, — повторил он её же слова, прошептав в макушку. — Ты моя жена, моя муза, моя головная боль и моя радость. Ты — та, ради кого я возвращаюсь.

Она фыркнула, отстранилась, хлопнула его по груди ладонью — ладонь маленькая, узкая, с длинными пальцами, унизанными серебряными перстнями, что звенели, как далёкие колокольцы.

— Иди уже, забавный мой. Пока ты будешь стоять тут и философствовать, остынет каша. А я пока закончу строчку. Там у меня как раз про то, как муж возвращается домой на рассвете, а жена ждёт его у окна с чашкой травяного чая. Ты — мой рассвет, Бава. Не заставляй себя ждать.

Бава развернулся и пошёл в ванную, слыша за спиной, как застучали клавиши — Мира снова нырнула в свой мир, где жили её герои, славянские Боги, древние ведуны и простые женщины, которые ждали своих мужчин с войны или с ночной смены. Он закрыл дверь, включил воду и, глядя на своё отражение в зеркале — тёмные глаза с сеткой лопнувших от усталости сосудов, острые скулы, тонкий нос с горбинкой, — подумал, что она права: он и впрямь приносит свет в эту квартиру. Но без её тени, без её тихого шёпота над клавиатурой, без её лисьих глаз, что видели его насквозь, этот свет был бы слишком резким, слишком беспощадным — он бы выжег всё, не оставив ни укрытия, ни покоя. Она — его равновесие. Его тишина. Его берег. Она — его Мира. И он — её забавный, медлительный, но самый любимый Бава.

Бава вышел из душа, на ходу вытирая голову полотенцем. Вода смыла усталость, но не думы — те роились, ровно листья под ветром, липкие и неотвязные. Он стоял посреди спальни, глядя на разложенный на кровати тёмно-синий свитер крупной вязки, и вдруг улыбнулся — той редкою улыбкой, тёплой, как печь в осеннюю стынь, что берег лишь для них двоих. Решение созрело ещё вчера, когда он забирал Ачиму из гимназии: сидела девочка на скамейке, болтая ногами в лаковых сапожках, и глядела на падающие листья с такой тихой грустью, что у него ёкнуло сердце. Понял он: час пробил. Пора вырвать их из городской клетки, из казённых стен и бесконечных строк, и увезти туда, где тишина имеет вкус и цвет.

Вышел он на кухню, и ударил в ноздри запах гречневой каши с маслом, душистый и сытный. Бава держался здоровья ради строгого устава в пище, и оттого сего утра на трапезу ему поданы были: гречневая каша, грудка куриная, два яйца, овощи и с ними — снадобья укрепляющие. Ибо он врач, и таков был его обет. А Мира, супруга его ласковая, своими руками изготовила сей скромный, но честный завтрак. Мира стояла у печи, помешивая что-то в малой кастрюльке, и напевала вполголоса — старую песню, что-то вроде «ой, туманы мои, растуманы». Бава подступил сзади, обнял её за плечи, уткнувшись носом в макушку. Потом отстранился, взял её за руку и молвил, не отпуская:

— Мира, взял я отпуск до самого нового года. И едем мы в Карелию. Ты, я и Ачима.

Она замерла, не донеся ложку до уст. Повернулась, глядя на него в упор — лисьи глаза сузились, но в них уже загорался свет, такой яркий, что он чуть не ослеп.

— Серьёзно ли? — спросила она, и голос её дрогнул — не от страха, но от счастья, которое боялась спугнуть.

— Истинно, — отвечал он, отпуская её руку и доставая телефон. — Нашёл я нам дом. На берегу озера, в тридцати верстах от Петрозаводска. Деревянный, с просторным крыльцом и камином. Хозяева — старики, уезжают на зиму к дочери в Питер. Сдаётся со всей утварью. А ведаешь, что в нём главное? Там по утрам туман. Густой, молочный, стелется над водой так, что и зги не видать. И тишина — такая, что слышно, как дышит земля-матушка.

Мира смотрела на него, не мигая. Тени под очами — следы бессонной ночи за работой — делали лицо её почти прозрачным, но улыбка, медленная, широкая, уже пробивалась сквозь усталость.

— Там есть баня, — продолжил Бава, листая снимки на телефоне. — Настоящая, чёрная, с каменкой. И зимний сад — застеклённое крыльцо, где можно сидеть в кресле с пледом и глядеть, как снег падает на воду. Я всё проверил: связь ловит, интернет есть, так что Ачима

сможет сдавать уроки на дому — я договорился с гимназией, пошли они навстречу. Ей нужен покой, Мира. Она в четвёртом классе, а глядит так, будто готовится к защите в университете.

— А мне? — тихо спросила Мира, и в голосе её прозвучала та самая капризная нотка, что он любил дразнить.

— Тебе — туман, — отвечал он, беря её лицо в ладони. — Бескрайний, как строка, что ты не можешь закончить. Будешь сидеть на крыльце, слушать, как потрескивает камин, и записывать всё, что нашепчет тебе Велес. Я уже вижу: ты закутана в тот старый шерстяной платок, что купила на ярмарке, и персты в кольцах летают по клавишам. А я буду рядом — молчать, глядеть на тебя и чувствовать, что жизнь, ей-богу, удалась. Три седмицы, Мира. Три седмицы без больничных коридоров и бессрочных гонок. Только мы, озеро и небеса.

Днём мы будем гулять втроём, знакомясь с местными — быть может, кто-то из них поведаст тебе карельские мистические истории, от которых по коже побегут мурашки, словно холодный ветер с Онежского озера. Ачима познакомится с деревенскими ребятами и вдохнёт полной грудью настоящее, здоровое детство — звонкое, как утренняя капель, и чистое, как северное сияние. А по вечерам мы станем собираться вместе, болтать ни о чём или говорить о самом сокровенном, когда тишина становится мягче пухового одеяла. Потом прочтём твои любимые сказки — и наше солнышко уснёт, убаюканное голосами, полными нежности. А мы с тобой, любимая, будем проводить все ночи в любви, словно в медовый месяц — жарко, жадно, будто пытаюсь остановить время. Как же я скучаю по тем временам, — выдохнул Бава, глядя в глаза своей жене Мире.

Она молчала долго — целую минуту, что показалась ему вечностью. Потом ступила вперёд, прижалась щекой к его груди, ко всё ещё влажной после душа рубашке, и прошептала:

— Люблю тебя, забавный мой. За то, что выдумываешь такие вещи, когда я уже готова сдаться и просто стареть.

Из спальни послышался топот — лёгкий, быстрый, как белка по сухой листве. На пороге кухни явилась Ачима: длинные чёрные косы, перевитые алыми лентами, школьное платье — тёмно-синее, в мелкий цветок, белый воротничок, кружевные манжеты. Была она точной копией матери в малом — те же узкие очи с лукавинкой, тот же острый подбородок, но чувствовалась в ней и отцовская порода: прямая спина, взгляд исподлобья. Замерла девочка на пороге, оглядела родителей и спросила звонко, с лёгкой картавостью:

— Папуль, а правда ли, что едем мы в Карелию? Я слышала, я не подслушивала, просто у вас голоса громкие. Когда? Я ещё не собрала вещей! Надобно взять «Войну миров» по чтению и альбом для зарисовок, и платье то, с кружевами, хочу надеть его, когда будем гулять у озера...

— Ачи, — Бава присел на корточки, сравнившись с нею ростом, и взял её за плечи, такие хрупкие, что он всегда боялся сжать их сильно. — Завтра поутру выезжаем. Машина уже забронирована. В гимназии я всё уладил — будешь учиться издалека, пришлют задания на электронную почту. А папе с мамой нужно, чтобы ты просто была рядом. Ты — наша радость, наша малая мудрая душа. Помнишь, что означает твоё имя? Ачима — «Бог поставил». Так вот, Бог поставил тебя в нашу жизнь, чтобы мы не забывали, зачем всё это.

Ачима шмыгнула носом, на миг став совсем дитятей, а потом серьёзно кивнула:

— Я соберу рюкзак сама. И знаю, что Карелия — край лесов и вод. Нам на уроке «Окружающего мира» рассказывали. Там водятся медведи и россомахи. Но не станем мы их бояться, да, пап? Потому что ты — самый сильный.

Бава расхохотался — громко, открыто, как давно уже не смеялся. Подхватил он дочь на руки, закружил по кухне, и её косы взметнулись, разбрасывая ленты, а Мира глядела на них, стоя у печи, и утирала очи тыльной стороной ладони.

— Собирайся, рысёнок, — молвил Бава, опуская Ачиму на пол. — Завтра на заре мы выезжаем. Будем глядеть, как туман поднимается над водой, слушать тишину и быть вместе. Сие и есть самое главное.

В кухне пахло кашей и счастьем — тем особым, что наступает, когда все планы сошлись, когда решение принято, и когда впереди — три седмицы покоя, где нет ни мёртвых, ни срочных строк, ни школьных звонков. Только лес, озеро, туман и три сердца, быющих в один лад.

Бава, Мира да Ачима — единоутробная семья, где лад с любовью век векуют. Как три ветви одного древа родового, корнями они в тугой узел сплелись, а листвою к солнцу тянутся — не разлить их студёной водой, не разлучить лихой годиной, ибо в сердце у каждого жарко теплится общий огонь очага, что сквозь годы и непогоду светит. Отец, мать и дочь — всё ладно у них, складно. Под дланью Родных Богов в любви да в мире они век доживают, друг друга берегут, как зеницу ока.

Единый корень в почве вековой,
Три ветви к небу тянутся упрямо.
Под вечною и мудрою листвою —
Отец и дочь, и ласковая мама.
Сплелись сердца в неразрывный узел,
Где каждый вздох на три любви поделен,
И рок, что в жизни многих переменчив,
Пред этой силой кроток и смиренен.

Отец и мать, и дочка нежная, словно свет,
Что из одной лампы льётся ровно.
Здесь места распрям и разлуке нет,
Всё слажено, всё ладно и духовно.
Их не разлить студёною водой,
Не сокрушить порывом бури хладной,
Они идут дорогою одной,
Своей судьбе доверившись отрадно.

В груди у каждого живой огонь горит —
Очаг домашний, в коем нет остывших.
Их Род святой от немощи хранит,
Любовью души до краёв наполнив.
Как зрачок ока, берегут покой,

В единстве видя высшее начало,
Чтоб их семья под Божьей дланью той
Во век веков беспамятства не знала.

Течёт река времён из края в край,
Но узел крепок, древо густоцветом
Цветёт и молит: «Нас не разлучай»,
Лучась в ночи неугасимым светом.
Счастливый круг, где совесть и тепло,
Где лад и мир — единственная правда.
Сквозь все года, и горестям назло,
Они — одна великая награда.

Отпуск в тумане Карелии

Утро встретило их серым московским небом — низким, тяжёлым, словно налитым свинцом, обещающим скорый снег. Бава поднялся затемно, за час до будильника: привычка, въевшаяся в кровь за годы дежурств, не отпускала даже на пороге отпуска. Он бесшумно, по-хозяйски собрал последние мелочи — зарядные устройства, аптечку, книгу жены: сборник повестей, стихов и сказок, который они будут читать по вечерам, — хотя в такие дни читать просто некогда: дочь в школе, у неё свои книги, Бава в морге — не до книг; но с этой книгой он привык чувствовать себя в безопасности, как с оберегом.

Мира вышла из опочивальни уже в сборе: вязаный шерстяной кардиган, джинсы в обтяжку, на плечах — тот самый платок, что заметил он ещё вчера. Очи её светились ясно, словно вода ключевая на заре — видать, спала она на диво крепко, без привычных ночных видений. Он принял то за доброе знамение. Чемоданы стояли у порога — три ладных исполина: его, её и дочерин. Ачима сама собрала свой рюкзак — девочке виднее, что в дорогу надобно. Родители не вступали, лишь чертили рубежи, давая десятилетней барышне право выбирать и волю быть собою, пусть малой, да уже не по годам самосильной.

В доме царил благоговейный покой. Мира была хозяйкой знатной: у неё всё по полочкам — как мысли в голове, из коих она потом складывала книги. «Чтобы вышло как по маслу, надобно долго сбивать молоко», — говаривала она о своём ремесле, и благодарные читатели чувляли ту выверенную лёгкость. Бава, патологоанатом по ремеслу, глядел на жизнь иначе: день за днём он стоял рядом с великой Матерью Смертью — Марой-Мареной, — оттого и жизнь пил вкусными, радостными глотками, без свар, перекогов и пустой маеты. Был он искусным врачом, верным и любящим мужем и отцом на загляденье.

Ачима — их дочь — росла с норовом непростым: то бельчонком ласковым, то вдруг — рысёнком с огнём в очах. Жила она в семье ладной, да в гимназии общалась с людьми разными, и были там семьи с судьбинами иными. Девочка с малых лет училась отделять зёрна от плевел. Умна не по годам, с костяком внутри — сама строила свою жизнь. Родители лишь подсобляли, наставляли, воспитывали, давали волю слову, одежде, мыслям — всему. Здоровое дитя, любящее гаджеты, но умеющее быть настоящим.

И этим утром говорил он жене своей такие слова: «Смотри-ка, жена моя — словно заря ясная. Хороший знак. И дочка наша — крепкий орешек. Всё будет ладно. Эх, Мира Алексеевна, Мира... как же я люблю тебя, моя писаная красавица. И Ачиму — нашу гордость. Поедем, поглядим на свет белый, отдохнём от прозекторской. А там, глядишь, и новые книжки твои народ зачитает до дыр».

Их жена и мама Мира научила разговаривать меж собой в славянской риторике — и они, люди современные, кому не чужды новомодные слова да заморские аббревиатуры, дома любили речь такую. Поначалу будто в шутку, добро подтрунивая над Мирой, а затем и сам Бава Савельевич втянулся — уважаемый доктор, в столь сложной и непростой профессии.

— Ну что, — молвила она, поправляя платок, — присядем на дорожку, как деды завещали?

— Присядем, — ответил Бава, и они втроём — он, она да дочка Ачима, заспанная, но с уже заплетёнными косами, — опустились на старый дубовый табурет у порога. Помолчали минуту, глядя друг на друга, будто собирая силы в единый узел. В доме стало тихо, лишь настенные часы отбивали дробь да где-то за стеной скрипнула половица.

— С Богом, — молвила Мира, осенив себя перуницей.

— С Богом, — повторил Бава, и они поднялись, словно сбросив тяготы московской суеты.

Бава был православным христианином: посты держал со тщанием, праздники чтит по чину, но к иным исповеданиям относился с уважением и кротостью — ибо не суди, да не судим будешь; у всякого свой путь и своё предназначение пред Господом. Супруга его, Мира Алексеевна, была из староверческого корня, благочестия древнего, закона строгого. Дочь же пока не крещена: к восемнадцати годам сама уразумеет, в какой вере пребывать. То её воля, её право перед Богом и совестью.

За окном уже раздался приглушённый сигнал такси: жёлтый «Фольксваген» мягко подрулил к подъезду, словно призрак рассвета, сотканный из тумана и резины. Водитель — грузный мордвин, из той старой, кремнёвой закалки, — молча, не обронив ни единого лишнего слова, помог уложить чемоданы в багажник, и его ладони, широкие, как лопаты, мелькнули в сером свете утра. Ачима с матерью устроились на заднем сиденье; девочка прижимала к груди альбом для зарисовок в нержавеющей обложке — отцовский подарок, купленный лишь вчера, ещё пахнувший терпкой типографской краской и обещанием тишины. Мира молчала, безучастно наблюдая за тем, что проплывало за окном автомобиля. Мордвин говорил протяжно, словно цедил сквозь зубы степной ветер, то и дело вплетая в речь мокшанские слова — тёплые и корявые, как старая кора дуба, хранящая память веков. Мира Алексеевна понимала его крепкое словцо и улыбалась уголками губ, не выдавая себя, будто тайная хранительница древнего наречия, впускающая в душу лишь отзвуки чужой брани.

Когда машина тронулась, водитель крикнул, покосился в зеркало заднего вида и буркнул себе под нос: — «Ёбалай, едут в такую рань в ноябрьское утро — не сидится дома, мать твою...» — и, чертыхнувшись уже по-мордовски, добавил: — «Кодама ёндолись!» — что значит: «Вот же молния!» — ругательство, означающее досаду или неожиданную напасть, словно удар грома среди ясного неба. Мира Алексеевна, чего греха таить, иногда прибегала к крепкому словцу, но никогда — в присутствии дочери. А вот с супругом любимым было и есть дело: злил он её подчас своим важным видом, таким барином, распушившим перья, и она ворчала, а ему это безумно нравилось, заводило до дрожи. Он завлекал её под благовидным предлогом в спальню, целовал, обнимал — и вроде успокаивалась она, его хитрюга-лисица, тающая в его руках, как утренний туман.

До Шереметьево ехали молча — вернее, говорила одна Мира, негромко, смотря в окно на проплывающие мимо спальные районы, на бетонные коробки новостроек, на редкие зелёные острова парков, что уже чернели голыми ветвями. Она перечисляла, что не забыть: запасные батарейки для диктофона, тёплые носки, зонт — хотя в Карелии в ноябре зонт бесполезен: дождь там косой и злой, под него надо одеваться по-другому. Бава кивал, слушал вполуха, глядя на неё в зеркало заднего вида: как она поправляет платок, как гладит дочь по голове, как на губах у неё застывает полуулыбка — та самая, с которой она пишет свои мистические повести, когда слова текут сами собой, словно диктуемые кем-то свыше.

В аэропорту былолюдно, но ровно настолько, чтобы не чувствовать давки. У стойки регистрации они выстояли очередь в двадцать минут, сдали багаж — старые кожаные чемоданы, купленные ещё в первый год брака, — и прошли в зал ожидания. Ачима сразу прильнула к стеклу, разглядывая взлетающие лайнеры, и каждое её «ой, смотри, папа!» отзывалось в груди Бава теплом, разливающимся, как чай с шиповником.

Самолёт — узкофюзеляжный «Сухой Суперджет», выдавший виды, с потёртыми креслами и слабым запахом отработанного керосина — оторвался от полосы ровно в десять утра, когда Москва уже натянула на плечи своё серое пальто. Ачима сидела у иллюминатора, Мира — в центре, Бава — у прохода. Пока лайнер набирал высоту, пробивая низкие облака, они молчали, глядя, как столица уходит вниз, растворяется в белом мареве, превращается в карту, где все маршруты уже не имеют значения.

Через час с небольшим самолёт пошёл на снижение, и когда облака расступились, под ними открылась земля Карелии — бескрайние леса, перемежаемые лентами замерзающих озёр, редкие нити просёлочных дорог, деревни, что казались игрушечными с высоты. Мира прильнула к иллюминатору, и Бава почувствовал, как напряглась её рука, сжимающая его ладонь, — не от страха, а от той особой, почти священной радости, что бывает, когда предчувствие сбывается.

Вышли они в Петрозаводске под мелким, как рассыпанная соль, дождём. Аэропорт — небольшой, уютный, с модными рекламой и цифровыми табло элементами в отделке — встретил их запахом сосны и чудесного отпуска. На парковке их уже ждал внедорожник цвета мокрый асфальт, суровый и брутальный, как сама природа Карелии, арендованный заранее: хозяин, седой карел с умными глазами и трубкой в зубах, вручил ключи без лишних слов, показав лишь, где какой рычаг, и пожелав доброй дороги.

Бава загрузил вещи, усадил семью, принял автомобиль, переданный ему в аэропорту, сел за руль и, выруливая на трассу, ведущую к Онежскому озеру, взглянул в зеркало заднего вида. Мира уже дремала, уронив голову на плечо дочери. Ачима, уставшая, но всё ещё полная восторга, смотрела в окно, водя пальцем по грязному стеклу, рисуя какие-то знаки — может, цветы, может, имена. И Бава подумал: вот она, та самая дорога — не на дежурство, не к очередному мёртвому телу, не в казённый кабинет с графиками и отчётами. Дорога к дому, где пахнет туманом.

Туман сползал на лоно сонных вод,
Как вздох праматери, извечный и глубокий.
Карелия вела свой хоровод,
Свет пропуская сквозь туман молочный.
Там сосны-исполины в небеса
Вросли корнями в каменные складки,
И древних скал седая полоса
Хранила тишину в земном порядке.

В гранит вцепились хваткою слепой
Древесных рук настойчивые жилы,
Ведомые не почвой — лишь судьбой
Да волей первозданной, тайной силы.
А воздух, густ и девственно прохладен,

Горчил багульником и близостью волны,
И пился, как живица хвойных впадин,
В преддверии великой тишины.

Озёрный плеск о стылые края
Шептал преданья языком прибоя,
И слушала смиренная ладья
О том, что пели предки пред бедою.
То не был бег от шумной суеты,
Но зов истока, где в янтарном теле
Застыло время, сбросив лоск пустой,
В смолистой, нескончаемой купели.

Там, где туман венчал собой миры,
Земля и небо слились воедино.
Мы вышли из привычной нам игры,
Оставив маски в пройденных низинах.
И, растворяясь в бездне вековых зеркал,
Где плачут воды встречей бесконечной,
Наш дух — прозрачен, истинен и мал —
Обрел приют в гармонии извечной.

Бава встретил Миру тринадцать лет назад. Был он тогда молод — патологоанатом, только начавший работать в морге, с руками, привыкшими к тишине, и сердцем, ещё не ведавшим, что такое удар молнии. А она — хрупкая, двадцати шести лет, точно воробушек с лисьими очами: угловатая, острая, вся из скул, тонких рук и лёгких ног в широких штанах. Короткая стрижка, пирсинг — и за плечами череда утрат. Она приходила к нему снова и снова, заказывала меру гроба: дед, бабушка, родители, брат — один за другим, вереницей, будто судьба испытывала её на излом. А она всё держалась, всё улыбалась сквозь слёзы, и была мила до дрожи. Он набрал её номер — просто позвал в кафе. И влюбился.

Он вырос в доме, где пахло йодом и правдой: отец — врач, мать — следователь. Справки навели быстро: девица добрая, лингвист, служит в музее. И Бава пропал. А Мира — оттаяла. Сыграли свадьбу в кругу друзей, тихо, но счастливо. А вскоре родилась дочь — Ачима Бавовна, дитя, сотканное из любви родителей, бабушек и дедов. И Мира, сидя в декрете, начала писать книги. Муж поддержал. И вот так, год за годом, они живут — дружно, нежно, счастливо.

Дорога вилась промеж сосен, что тянулись к небу, аки длани, сложенные в молитве — не о хлебе насущном, но о покое для душ усталых. С каждой верстой градская суета истаяла, уступая место тишине первозданной, кою нарушал лишь шорох колес да редкий глас птицы, возносящей хвалу лесу. Бава правил твёрдо, без суеты — он вбирал в себя перемену декораций, чуя, как с рамен спадает груз бессонных ночей и стылых коридоров, что давили плечи долгие месяцы.

Мира отворила очи, едва они свернули на грунтовку, уходящую в сердцевину леса, и узрела, как древа смыкаются над дорогой шатром, пропуская лишь лоскуты бледного неба — лоскуты те, словно плат Богородицы, укрывали путников. Ачима приникла носом к стеклу,

разглядывая коряги, поросшие мхом седым, и следы звериные на влажной земле — следы те вели в чащу, где, верно, таилось древнее чудо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.